

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Детство. Отрочество.
Юность



Москва

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44
Т53

Художественное оформление серии
Натальи Портяной

Толстой, Лев Николаевич.
Т53 Детство. Отрочество. Юность / Лев Толстой. —
Москва : Эксмо, 2026. — 416 с. — (Магистраль.
Главный тренд).

ISBN 978-5-04-225911-1

Лев Николаевич Толстой (1828—1910) — великий русский писатель, философ и мыслитель.

Трилогия «Детство. Отрочество. Юность», основанная на дневниковых записях молодого Толстого, рассказывает о формировании личности ребенка, поисках самоопределения и обретении своего места во внешнем мире. Главный герой, Николенька Иртеньев, взрослеет на наших глазах: играет с друзьями, влюбляется, сочиняет стихи, переживает смерть матери и поступает в университет.

Эта книга задала мощный литературный тренд. К произведениям, продолжающим этот тип повествования, относятся «Детские годы Багрова-внука» С. Аксакова, «Детство Тёмы» Н. Гарина-Михайловского, «Детство Никиты» А. Толстого, а также автобиографическая трилогия М. Горького.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-04-225911-1

© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2026

ДЕТСТВО

ГЛАВА I

УЧИТЕЛЬ КАРЛ ИВАНЫЧ

12-го августа 18..., ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой — из сахарной бумаги на палке — по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Иваныча. Он же, в пестром ваточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах, продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать.

«Положим, — думал я, — я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володиной постели? вон их сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, — прошептал я, — как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает...

противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка — какие противные!»

В то время как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Ивановича, он подошел к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над нею в шитом бисерном башмачке, повесил хлопущку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа повернулся к нам.

— Auf, Kinder, auf!.. s'ist Zeit. Die Mutter ist schon im Saal!¹ — крикнул он добрым немецким голосом, потом подошел ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иванович сначала понюхал, утер нос, щелкнул пальцами и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки. — Nun, nun, Faulenzer!² — говорил он.

Как я ни боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову под подушки, изо всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха.

«Какой он добрый и как нас любит, а я мог так дурно о нем думать!»

Мне было досадно и на самого себя, и на Карла Ивановича, хотелось смеяться и хотелось плакать: нервы были расстроены.

— Ach, lassen Sie³, Карл Иванович! — закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из-под подушек.

Карл Иванович удивился, оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал спрашивать меня: о чем я? не видел ли я чего дурного во сне?.. Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее: мне было совестно, и я не понимал, как за минуту

¹ Вставать, дети, вставать!.. пора. Мать уже в зале (*нем.*).

² Ну, ну, лентяй! (*нем.*)

³ Ах, оставьте (*нем.*).

перед тем я мог не любить Карла Иваныча и находить противными его халат, шапочку и кисточку; теперь, напротив, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу оттого, что видел дурной сон — будто татапа умерла и ее несут хоронить. Все это я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь; но когда Карл Иваныч, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже от другой причины.

Когда Карл Иваныч оставил меня и я, приподнявшись на постели, стал натягивать чулки на свои маленькие ноги, слезы немного унялись, но мрачные мысли о выдуманном сне не оставляли меня. Вошел дядька Николай — маленький, чистенький человечек, всегда серьезный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карла Иваныча. Он нес наши платья и обувь: Володе сапоги, а мне покуда еще несносные башмаки с бантиками. При нем мне было бы совестно плакать; притом утреннее солнышко весело светило в окна, а Володя, передразнивая Марию Ивановну (гувернантку сестры), так весело и звучно смеялся, стоя над умывальником, что даже серьезный Николай, с полотенцем на плече, с мылом в одной руке и с рукомыльником в другой, улыбаясь говорил:

— Будет вам, Владимир Петрович, извольте умываться. Я совсем развеселился.

— Sind Sie bald fertig?¹ — слышался из классной голос Карла Иваныча.

Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слез. В классной Карл Иваныч был совсем другой человек: он был наставник.

¹ Скоро ли вы будете готовы? (нем.)

Я живо оделся, умылся и, еще с щеткой в руке, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов.

Карл Иваныч, с очками на носу и книгой в руке, сидел на своем обычном месте, между дверью и окошком. Налево от двери были две полочки: одна — наша, детская, другая — Карла Иваныча, *собственная*. На нашей были всех сортов книги — учебные и неучебные: одни стояли, другие лежали. Только два больших тома «Histoire des voyages»¹, в красных переплетах, чинно упирались в стену; а потом и пошли, длинные, толстые, большие и маленькие книги, — корочки без книг и книги без корочек; все туда же, бывало, нажмешь и всунешь, когда прикажут перед рекреацией привести в порядок библиотеку, как громко называл Карл Иваныч эту полочку. Коллекция книг на *собственной* если не была так велика, как на нашей, то была еще разнообразнее. Я помню из них три: немецкую брошюру об унавоживании огородов под капусту — без переплета, один том истории Семилетней войны — в пергаменте, прожженном с одного угла, и полный курс гидростатики. Карл Иваныч большую часть своего времени проводил за чтением, даже испортил им свое зрение; но, кроме этих книг и «Северной пчелы», он ничего не читал.

В числе предметов, лежавших на полочке Карла Иваныча, был один, который больше всего мне его напоминает. Это — кружок из кардона, вставленный в деревянную ножку, в которой кружок этот подвигался посредством шпенок. На кружке была наклеена картинка, представляющая карикатуры какой-то барыни и парикмахера. Карл Иваныч очень хорошо клеил и кружок этот сам изобрел и сделал для того, чтобы защищать свои слабые глаза от яркого света.

¹ «История путешествий» (*франц.*).

Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика, на котором стоит кружок с парикмахером, бросавшим тень на его лицо; в одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресел; подле него лежат часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, черная круглая табакерка, зеленый футляр для очков, щипцы на лоточке. Все это так чинно, аккуратно лежит на своем месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Иваныча совесть чиста и душа покойна.

Бывало, как досыта набегашься внизу по зале, на цыпочках прокрадешься на верх, в классную, смотришь — Карл Иваныч сидит себе один на своем кресле и с спокойно-величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставал его и в такие минуты, когда он не читал: очки спускались ниже на большом орлином носу, голубые полузакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы грустно улыбались. В комнате тихо; только слышно его равномерное дыхание и бой часов с егерем.

Бывало, он меня не замечает, а я стою у двери и думаю: «Бедный, бедный старик! Нас много, мы играем, нам весело, а он — один-одинешенек, и никто-то его не приласкает. Правду он говорит, что он сирота. И история его жизни какая ужасная! Я помню, как он рассказывал ее Николаю — ужасно быть в его положении!» И так жалко станет, что, бывало, подойдешь к нему, возьмешь за руку и скажешь: «Lieber¹ Карл Иваныч!» Он любил, когда я ему говорил так; всегда приласкает, и видно, что растроган.

¹ Милый (нем.).

На другой стене висели ландкарты, все почти изорванные, но искусно подклеенные рукою Карла Иваныча. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки: одна — изрезанная, наша, другая — новенькая, *собственная*, употребляемая им более для поощрения, чем для линеования; с другой — черная доска, на которой кружками отмечались наши большие проступки и крестиками — маленькие. Налево от доски был угол, в который нас ставили на колени.

Как мне памятен этот угол! Помню заслонку в печи, отдушник в этой заслонке и шум, который он производил, когда его поворачивали. Бывало, стоишь, стоишь в углу, так что колени и спина заболят, и думаешь: «Забыл про меня Карл Иваныч: ему, должно быть, покойно сидеть на мягком кресле и читать свою гидростатику, — а каково мне?» — и начнешь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять заслонку или ковырять штукатурку со стены; но если вдруг упадет с шумом слишком большой кусок на землю — право, один страх хуже всякого наказания. Оглянешься на Карла Иваныча, — а он сидит себе с книгой в руке и как будто ничего не замечает.

В середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной черной клеенкой, из-под которой во многих местах виднелись края, изрезанные перочинными ножами. Кругом стола было несколько некрашенных, но от долгого употребления залакированных табуретов. Последняя стена была занята тремя окошками. Вот какой был вид из них: прямо под окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждый камешек, каждая колея давно знакомы и милы мне; за дорогой — стриженная липовая аллея, из-за которой кое-где виднеется плетеный чаштокол; через аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес; далеко в лесу видна избушка сторожа. Из окна направо видна часть террасы, на

которой сиживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иваныч лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину и смутно слышишь оттуда говор и смех; так делается досадно, что нельзя там быть, и думаешь: «Когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю?» Досада перейдет в грусть, и, бог знает отчего и о чем, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иваныч сердится за ошибки.

Карл Иваныч снял халат, надел синий фрак с возвышениями и сборками на плечах, оправил перед зеркалом свой галстук и повел нас вниз — здороваться с матушкой.

ГЛАВА II

МАМАН

Матушка сидела в гостиной и разливала чай; одной рукой она придерживала чайник, другою — кран самовара, из которого вода текла через верх чайника на поднос. Но хотя она смотрела пристально, она не замечала этого, не замечала и того, что мы вошли.

Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку такую, какую она была в это время, мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь, родинка на шее, немного ниже того места, где вьются маленькие волосики, шитый белый воротничок, нежная сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал; но общее выражение ускользает от меня.

Налево от дивана стоял старый английский рояль; перед роялем сидела черномазенькая моя сестрица Любочка и розовенькими, только что вымытыми холодной водой пальчиками с заметным напряжением разыгрывала этюды Clementi. Ей было одиннадцать лет; она ходила в коротеньком холстинковом платьице, в беленьких обшитых кружевом панталончиках и октавы могла брать только *agreggio*¹. Подле нее вполупорот сидела Марья Ивановна в чепце с розовыми лентами, в голубой кацавейке и с красным сердитым лицом, которое приняло еще более строгое выражение, как только вошел Карл Иванович. Она грозно посмотрела на него и, не отвечая на его поклон, продолжала, топая ногой, считать: «Un, deux, trois, un, deux, trois»², — еще громче и повелительнее, чем прежде.

Карл Иванович, не обращая на это ровно никакого внимания, по своему обыкновению, с немецким приветствием подошел прямо к ручке матушки. Она опомнилась, тряхнула головкой, как будто желая этим движением отогнать грустные мысли, подала руку Карлу Ивановичу и поцеловала его в морщинистый висок, в то время как он целовал ее руку.

— Ich danke, lieber³ Карл Иванович, — и, продолжая говорить по-немецки, она спросила: — Хорошо ли спали дети?

Карл Иванович был глух на одно ухо, а теперь от шума за роялем вовсе ничего не слышал. Он нагнулся ближе к дивану, оперся одной рукой о стол, стоя на одной ноге, и с улыбкой, которая тогда мне казалась верхом утонченности, приподнял шапочку над головой и сказал:

— Вы меня извините, Наталья Николаевна?

¹ А р п е д ж о — звуки аккорда, следующие один за другим.

² Раз, два, три, раз, два, три (*франц.*).

³ Благодарю, милый (*нем.*).

Карл Иваныч, чтобы не простудить своей голой головы, никогда не снимал красной шапочки, но всякий раз, входя в гостиную, спрашивал на это позволения.

— Наденьте, Карл Иваныч... Я вас спрашиваю, хорошо ли спали дети? — сказала татап, подвинувшись к нему и довольно громко.

Но он опять ничего не слышал, прикрыл лысину красной шапочкой и еще милее улыбался.

— Пойдите на минутку, Мими, — сказала татап Марье Ивановне с улыбкой, — ничего не слышно.

Когда матушка улыбалась, как ни хорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше, и кругом все как будто веселело. Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе. Мне кажется, что в одной улыбке состоит то, что называют красотой лица: если улыбка прибавляет прелести лицу, то лицо прекрасно; если она не изменяет его, то оно обыкновенно; если она портит его, то оно дурно.

Поздоровавшись со мною, татап взяла обеими руками мою голову и откинула ее назад, потом посмотрела пристально на меня и сказала:

— Ты плакал сегодня?

Я не отвечал. Она поцеловала меня в глаза и по-немецки спросила:

— О чем ты плакал?

Когда она разговаривала с нами дружески, она всегда говорила на этом языке, который знала в совершенстве.

— Это я во сне плакал, татап, — сказал я, припоминая со всеми подробностями выдуманый сон и невольно содрогаясь при этой мысли.

Карл Иваныч подтвердил мои слова, но умолчал о сне. Поговорив еще о погоде, — разговор, в котором приняла участие и Мими, — татап положила на поднос шесть кусочков сахара для некоторых почетных слуг, встала и подошла к пальцам, которые стояли у окна.

— Ну, ступайте теперь к папа¹, дети, да скажите ему, чтобы он непременно ко мне зашел, прежде чем пойдет на гумно.

Музыка, считанье и грозные взгляды опять начались, а мы пошли к папа. Пройдя комнату, удержавшую еще от времен дедушки название *официантской*, мы вошли в кабинет.

ГЛАВА III

ПАПА

Он стоял подле письменного стола и, указывая на какие-то конверты, бумаги и кучки денег, горячился и с жаром толковал что-то приказчику Якову Михайлову, который, стоя на своем обычном месте, между дверью и барометром, заложив руки за спину, очень быстро и в разных направлениях шевелил пальцами.

Чем больше горячился папа, тем быстрее двигались пальцы, и наоборот, когда папа замолкал, и пальцы останавливались; но когда Яков сам начинал говорить, пальцы приходили в сильнейшее беспокойство и отчаянно прыгали в разные стороны. По их движениям, мне кажется, можно бы было угадывать тайные мысли Якова; лицо же его всегда было спокойно — выражало сознание своего достоинства и вместе с тем подвластности, то есть: я прав, а впрочем, воля ваша!

Увидев нас, папа только сказал:

— Погодите, сейчас.

И показал движением головы дверь, чтобы кто-нибудь из нас затворил ее.

— Ах, боже мой милостивый! Что с тобой нынче, Яков? — продолжал он к приказчику, подергивая пле-

¹ В XIX веке слово «папа» часто произносилось с ударением на втором слоге — *papa'*, по французскому образцу (*papá*)

чом (у него была эта привычка). — Этот конверт со вложением восьмисот рублей...

Яков подвинул счета, кинул восемьсот и устремил взоры на неопределенную точку, ожидая, что будет дальше.

— ...для расходов по экономии в моем отсутствии. Понимаешь? За мельницу ты должен получить тысячу рублей... так или нет? Залогов из казны ты должен получить обратно восемь тысяч; за сено, которого, по твоему же расчету, можно продать семь тысяч пудов, — кладу по сорок пять копеек, — ты получишь три тысячи; следовательно, всех денег у тебя будет сколько? Двенадцать тысяч... так или нет?

— Так точно-с, — сказал Яков.

Но по быстроте движений пальцами я заметил, что он хотел возразить; папа перебил его:

— Ну, из этих-то денег ты и пошлешь десять тысяч в Совет за Петровское. Теперь деньги, которые находятся в конторе, — продолжал папа (Яков смешал прежние двенадцать тысяч и кинул двадцать одну тысячу), — ты принесешь мне и нынешним же числом покажешь в расходе. (Яков смешал счета и перевернул их, показывая, должно быть, этим, что и деньги двадцать одна тысяча пропадут так же.) Этот же конверт с деньгами ты передашь от меня по адресу.

Я близко стоял от стола и взглянул на надпись. Было написано: «Карлу Ивановичу Мауеру».

Должно быть, заметив, что я прочел то, чего мне знать не нужно, папа положил мне руку на плечо и легким движением показал направление прочь от стола. Я не понял, ласка ли это или замечание, на всякий же случай поцеловал большую жилистую руку, которая лежала на моем плече.

— Слушаю-с, — сказал Яков. — А какое приказание будет насчет хабаровских денег?

Хабаровка была деревня татам.